

§ 4. Сущность лингвистического идеализма

Этот параграф является продолжением предыдущего. Здесь мы более детально обсуждаем вопрос об антиреалистических тенденциях философии позднего Витгенштейна, пытаясь вскрыть сущность того, что Бейкер и Хакер назвали «лингвистическим идеализмом».

Сохраняя в поздней философии идею языка как средства *описания*, Витгенштейн совершенно меняет значение самого термина «описание». Описание уже не понимается как ситуация соответствия высказывания фактам. Описание становится автономным; оно лишается каких-либо редуктивных свойств. Когда Витгенштейн предлагает перейти от объяснения к «простому описанию», он устанавливает принцип независимости языка от всего, что не является языком. Например, мы говорим, что Наполеон был императором Франции. Почему мы в этом уверены? Потому что это можно *узнать, выяснить и удостоверить*. Смысл тезиса Витгенштейна сводится к тому, что нам не нужно идти *далее*. Следует двигаться не к недоступной платоновской идее и не к расселовскому точному описанию. Необходимо остановиться на том, что просто и достоверно. По Витгенштейну, если дверь закреплена на петлях, то я знаю это и могу ответить, откуда я это знаю, что не включает в себя ни вопрос о природе знания самого по себе, ни вопрос о соответствии содержания высказывания фактам. В «Недоросле» Фонвизина Митрофанушка ассоциировал имя прилагательное со старой дверью, которая приложена к стене, и в рамках своего языка понимал имя прилагательное именно так. Знание, уверенность, описание приобретают тем самым не теоретический, а практический характер. Они неотделимы от уверенности, сообщества и самого языка.

Однако Витгенштейн не стремится психологизировать язык, как сделали некоторые его последователи. Он пытается сделать критерии достоверности обыденного языка не менее логически строгими и точными, чем критерии идеального логического языка. При этом, по замыслу Витгенштейна, обыденный язык является гораздо более «исконным», точнее отображающим реальность и жизнь. Получается, что

такие важнейшие понятия обыденного языка, как «языковая игра», «значение слова», «правило», «достоверность» и т. д., выступают не просто альтернативой понятий «точное описание», «факт», «однозначность», «истина» и т. д. Они должны *заменить* их. Тем не менее, вопреки Витгенштейну, мы полагаем, что это — невозможное предположение, если не порывать с принципом реализма и логической строгости. Витгенштейн *должен* был стать лингвистическим идеалистом, как бы он того ни хотел.

Таким образом, мы видим, как «непоколебимая убежденность» превращается в классический принцип привычки Юма, но с одним важным отличием. Если Юм полагал, что постоянно повторяющиеся одинаковые впечатления порождают в мозгу привычку ожидать эти события, то Витгенштейн полагает, что постоянное употребление слова, особенно слова с устоявшимся значением, заставляет нас связать его употребление с деревом, формируя не эмпирическую, а *лингвистическую* привычку. В духе такой интерпретации фразу: «Я непоколебимо убежден» можно понимать так: «Я *привык*, что я и окружающие относят слово «дерево» к определенным объектам». Таким образом, слово и объект связаны на основании устойчивой лингвистической привычки, сформулированной и закрепленной в собственном языке. Сама объективность тем самым зависит от языка и задается им.

По Витгенштейну, человек, владеющий данным языком, всегда поймет, как другой носитель языка знает это. Имея сходные лингвистические привычки, он полагает, что подобные привычки есть и у собеседника. При этом лингвистические привычки и практические навыки не обязательно должны выходить к объективному миру, не обязательно должны описывать реальность. Открывая выражения, лишённые описательного содержания («Воды!», «Прочь!» и т. д.), Витгенштейн полагает, что вполне возможна «*безобъектная*» структура языка, что, несомненно, релятивизирует саму реальность. Например, люди XV в. полагали, что система Птолемея истинна, а люди XIX в. ее отвергали. Получается, по Витгенштейну, что и те и другие в рамках своих языков были правы, поскольку способ употребления таких слов, как «земля», «солнце», «вращение», был четко и правильно зафиксирован.

Однако тут встает локковский вопрос. Рассуждая о формальной логике, Локк отметил, что суждения о лошади и единороге одинаково истинны, после чего задал вопрос: зачем такая истинность? Аналогично можно спросить Витгенштейна: зачем такая правильность? К чему ведет признание равной правильности языка Птолемея и языка Коперника? Несомненно, только к лингвистическому идеализму и релятивизму, к превращению языка в замкнутый холистический дискурс. Витгенштейну остается сделать только маленький шаг до полного идеализма, допустив то, что реальность задается языком, что само бытие вещи устанавливается в языке. Так в принципе делает Хайдеггер, который пишет: «Где не хватает слова, там и нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием»¹. Элиминируя объективную истину, отказываясь от объективного смысла языка, Витгенштейн вынужден признать, что законы языка не зависят от законов реальности. Конечно, в отличие от Хайдеггера, он не разделяет лингвистического солипсизма, однако не может что-либо предложить взамен, кроме учения о языковых конвенциях.

Тем не менее языковые конвенции могут и не описывать объективные свойства вещей; они могут основываться на иллюзиях, мнениях и предрассудках. Витгенштейн весьма озабочен подобным «мусором», против которого нельзя выставить заслон. Ведь тогда язык перестанет быть «живым», «употребляемым»; он станет формальным и мертвым. Здесь Витгенштейн надеется на «дарвинистский» критерий конкуренции языков, в результате которой выживает «самый объективный» язык. Однако здесь вырисовывается иррациональный характер самого процесса отбора наилучшего языка, который зависит от лингвистических привычек и «лингвистической удачи» (перефразируя принцип моральной удачи Б. Уильямса). Таким образом, вопрос о наилучшем языке для описания того или иного объекта или явления, отпущенный «на самотек», не приводит к тем результатам, на которые надеется Витгенштейн. Он переоценил как строгость любого отдельного языка, так и его описательную силу.

¹ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 303.

Критикуя Витгенштейна, мы не стремимся принизить его заслуги в области современной философии языка. Скорее мы видим в нем абсурдного героя, который, стремясь «углубить» язык, на самом деле оторвал его от реальности, вплоть до исключения самой реальности из сферы философии языка. Когда слово, попадая в другой язык и в другую среду, совершенно меняет свое значение, это уже не похоже на «уточнение», за которое ратует Витгенштейн. Это похоже на переописание, радикальный пересмотр. Отказавшись от единого логического критерия точности, уточнения и значения, Витгенштейн впадает в лингвистический психологизм, отдавая значения слов и понятий во власть *лингвистических привычек*. Когда в «уткозайце» человек видит утку или зайца, это вполне допустимо в рамках обыденного представления и языка, но никак не в рамках философского и научного языка. Философский и научный язык тем и отличаются от обыденного языка, что они абстрактны. А это не всегда плохо и «безжизненно», поскольку, как верно отметил Гегель, мы здесь выходим за пределы конкретно-чувственного уровня представления и переходим к абстрактному мышлению. Индейский вождь Апонкачана, упоминаемый в локковском «Опыте о человеческом разумении», не знает идеи Троицы, пока его этому не научат. Профан, смотрящий на «уткозайца», будет наивно видеть в фигуре зверюшку, если не знаком с основаниями геометрии. Таким образом, можно заключить, что «уткозаяц» Витгенштейна не сумел профанировать, низвергнуть ни принцип муровской теории соответствия (и вообще позицию метафизического реализма), ни приоритет науки в решении этого вопроса.

Справедливости ради нельзя не отметить важности обнаруженных Витгенштейном критериев обыденного языка. Любой язык, в самом деле, склонен порывать с действительностью. Формируясь и постепенно омертвляясь, язык все более начинает напоминать замкнутую холистическую систему, которая иллюзорно содержит в себе критерии самой реальности. На самом деле это коллективный обман, который является следствием власти языковых привычек в Театре Юма. Геббельс, устраивая массовые митинги, отмечал, как важно для человека быть среди ста тысяч людей, думающих так же, как и он. Что же говорить о разных обыденных языках, имеющих подчас миллиардную аудито-

рию. Эти языки начинают диктовать свои критерии самой реальности, и только немногие из людей достаточно разумны, чтобы встать выше этой власти. Идеалистически допуская приоритет критериев языка по отношению к критериям реальности, Витгенштейн создает благодатную почву для антигуманистических течений и принципов, вплоть до крайнего лингвистического релятивизма и коммунального солипсизма.

В комментаторской литературе о Витгенштейне распространено мнение, что он отвергал связи между языком и действительностью, переводя критерии «уверенности» исключительно в область языка. Как мы отметили, это мнение во многом соответствует действительности, особенно философской перспективе лингвистической философии. Тем не менее мы считаем это мнение упрощенным, не отражающим внутренней трагичности мировоззрения основоположника лингвистического идеализма. Витгенштейн не был уверен в истинности своих поздних идей, не публиковал их. Витгенштейн все время искал «логику» в обыденном языке. Витгенштейн все время возвращался к Муру и Расселу, стремясь установить новые критерии реализма взамен принципов метафизического реализма и логицизма. «Необоснованная вера», «непоколебимая убежденность» и другие принципы Витгенштейна все же позволяют выделить иррационалистические моменты в его лингвистическом идеализме, неуверенность в самой возможности достоверного знания и понимания языка.

Иллюзия полноты языка, убеждение в его автономном существовании оказываются противоречивым достижением, в чем убедился и сам Витгенштейн. В одном месте он ставит проблему: до каких пор можно спрашивать? Формально это возможно до бесконечности, но реально чрезмерные уточнения будут ненужными и праздными. Философ, который пишет для себя и сам по себе, никого не может научить своей метафизической позицией: она чужда языку читателя. Лишенная социальных и исторических корней метафизически ориентированная философия с ее искусственным языком становится все более и более «праздной». Витгенштейн убежден, что внимание к языку покончит с формализмом, открывает реальность в новой, более четкой перспективе. Будучи убежден в том, что реальность обретается только в языке,

Витгенштейн все более и более перестает нуждаться во внеязыковой реальности. В одном месте он отмечает, что сомневается в том, что его зовут «Людвиг Витгенштейн». Это закономерно, поскольку ни один язык, ни одно имя уже не выходит к реальности, в результате чего даже реальность собственного имени может быть оспорена. Вместе с тем это закономерно еще и потому, что достоверности, которую ищет Витгенштейн, уже не существует. Проблема Витгенштейна в том, что в поисках более глубоких критериев реализма и истинности, чем те критерии, которые были выведены метафизическими реалистами, Витгенштейн не только не нашел их, но, наоборот, полностью потерял. Принцип реализма, который Витгенштейн отбросил как формально-логический принцип теории идеального языка, оказался гораздо более широким. Для того чтобы сохранить последовательность, Витгенштейн *вынужден* был создать идеалистическую эпистемологию, в которой язык оказался новой, более «глубокой» и «близкой к жизни» реальностью. В результате реальность мира исчезла. Можно сказать, что Витгенштейн вполне согласен с Ницше, который отметил: «Насчет того, что такое “достоверность”, может быть еще никто не удостоверился в достаточной степени»¹.

Общий характер зависимости любого знания от языковой формы в лингвистическом идеализме принимается без доказательств, как факт человеческого существования. Витгенштейн, стремящийся к предельно точному обоснованию любого положения своей философии, не может доказать это положение. «Ты должен задуматься над тем, что языковая игра есть, так сказать, нечто непредсказуемое. Я имею в виду: она не обоснована. Она не разумна (или неразумна). Она пребывает как наша жизнь. И понятие знания сопряжено с понятием языковой игры»², — пишет Витгенштейн. Автономность языка, его «непостижимость» создают иллюзию «непознаваемости» языка, когда философский анализ может только «описывать» язык, а не задавать его законы, подобно физиологу, который описывает процесс дыхания, будучи не в силах его изменить.

¹ Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 304.

² Витгенштейн Л. О достоверности. § 559 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

На наш взгляд, учение Витгенштейна о непостижимости (и, как следствие, непогрешимости) языка выступает внутрилингвистической формой доказательства принципа «Только язык». Человек изначально ставится в зависимость от языка, когда он либо подменяет реальность языком, либо выходит к реальности через язык. Лингвистический идеализм, таким образом, отказывается от идеи особого доступа к реальности. В споре о дереве Мур и Витгенштейн говорят на разных языках, поскольку не питающий лингвистических иллюзий реалист Мур видит в языке только подсобное средство познания, вторичное по отношению к самому познанию. Витгенштейн же, допуская внутрилингвистическую трактовку языка, видит в «дереве» некий неэлиминируемый символ, разрушение которого повлечет за собой разрушение самобытности этого языка. Так, элиминация из языка любителей сказок положения о летающих коврах-самолетах повлечет за собой разрушение этого языка. Любитель сказок в этом контексте, если перефразировать Достоевского, останется скорее с языком, нежели с истиной.

Вопреки Витгенштейну, мы считаем подобную озабоченность несколько чрезмерной, а веру в «непостижимость» языка иррационалистическим допущением, которое в достаточной степени произвольно. Приводя в пример «ювеливаллера» Л. Кэрролла, Витгенштейн доказывает, что в стране Зазеркалье вещи выступают такими, какими являются слова. Это весьма слабый тезис, поскольку крайне трудно доказать, что наш «ювелир» и их «ювеливаллер» не обозначают человека одной и той же профессии. Конечно, как отметил Куайн, при переводе возможны логические и лингвистические затруднения, но ведь здесь-то мы не задаемся целью перевода и даже целью сопровождения языков. Ставя вопрос о референции, мы можем установить, что «ювелир» и «ювеливаллер» обозначают одну и ту же профессию, что позволяет стереть различия в употреблении. Другое дело, что мы не должны, подобно Расселу, превращать анализ в средство нивелирования психологических, лингвистических, культурных и других отличий, видеть в таком языке язык математики и т. д. На наш взгляд, достаточно поставить вопрос о референции, заранее договорившись о праве каждого языка на уникальность описаний. Практика жизни, на которую так любят ссылаться лингвистические идеалисты и другие

сторонники современного релятивизма, доказывает, что бытие вещей и убежденность в наличии относительно неизменных законов реальности может быть мостом, на котором налаживается коммуникация самых разных языков. Витгенштейн, на наш взгляд, совершил ошибку, оторвав знак от объекта только на том основании, что ошибочно отождествление знака и объекта. Имея свои законы и, прежде всего, символический характер, язык тем не менее может быть холистической системой только в формальном, но не в содержательном аспекте. Позитивным содержанием нашей критики лингвистического идеализма является доказательство возможности выхода любого языка к реальному миру и, следовательно, опровержения тезиса «Только язык».

Когда мы говорим, что в двух разных играх, где задействованы одни и те же шахматные фигуры, присутствуют *разные* шахматы, мы тем самым, в силу доверия символизму языка и воображения, начинаем *переносить* сами свойства языка на реальные объекты. Поэтому, если быть реалистами, следует подправить витгенштейновский тезис, который будет выглядеть так: шахматные фигуры могут быть использованы в самых разных играх. Что же касается самих этих игр, то они не носят «чисто языкового» характера. Вопреки Витгенштейну и теоретикам лингвистического идеализма, можно трактовать эти игры не как конвенционально установленные «правила», а как объективные логические предписания, которые не могут быть произвольно изменены. Так, в любой спортивной игре (включая и шахматы) существуют арбитры, карающие за любые отступления от ее правил. Эти правила известны самим игрокам, судьям и болельщикам, но объектом их референции выступает не акт коммунального согласия, а сама игра как реальное действие. Таким образом, лингвистические идеалисты умышленно «не идут» в область эпистемологического анализа. Оставаясь «при языке», они идут на поводу его значимых, но, в сущности, локальных законов.

Лингвистические идеалисты осознают, что последовательное применение принципа «Только язык» должно «отсекать» все другие возможные принципы. В связи с этим некоторые из них сознательно профанируют идеи конкурентов, особенно рациональное познание. Рациональность, вообще, является «неудобной» категорией для лингвистического

идеалиста; ее надо понизить в статусе, свести до языкового придатка, превратить в то, что Э. Геллнер метко окрестил «бесконечной инфантильной регрессией». Занимаясь вольными переописаниями, лингвистические идеалисты вслед за иррационалистами и прагматистами населяют страницы своих трудов рассуждениями о детях, дикарях, фольклорных персонажах, литературных героях и т. д., наподобие того, как все придворные театральные постановки XVIII в. восходят к древним богам и героям. Все эти персонажи, некоторые из которых стали нарицательными (народ Азанде, Винни-Пух, Элизабет Беннет и др.), объединяет одно: *они только говорят*. При этом, безусловно, они мыслят, но их мысль не отделяется от языка, не существует в форме изолированной «чистой мысли».

Представим себе, что дети не отправились в школы, а остались неграмотными. Они превращаются в крестьян и туземцев, поддерживающих язык и культуру примерно на одном уровне. Таких туземцев выводят на сцену многие лингвистические идеалисты, например У. В. О. Куайн и П. Уинч. Последний приводит в пример некий народ Азанде, для которого язык преследует скорее социальные и коммуникативные, нежели когнитивные и дескриптивные цели. Уинч настаивает на том, что «антрополог» не может подходить к языку этого дикарского племени, используя правила своего языка.

Это достаточно сильный ход, один из самых больших козырей лингвистических идеалистов, выявленный уже Витгенштейном. Вопрос заключается в том, что *контекст любого языка не может быть контекстом всех языков*. Бертран Рассел в «Человеческом познании» отметил, что точный, логически выверенный язык науки бесполезен во многих практических областях, например для выражения человеческих чувств и переживаний. Точность языка, таким образом, не является для него критерием всеобщности. Языки поэтов, теологов, дикарей не могут быть «научно», теоретически представлены. Сальери в трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» произносит монолог, где отмечает, что он всю жизнь изучал музыку, постиг ее во всех тонкостях («музыку я разъял, как труп»). А Моцарт, «гуляка праздный», эту гармонию просто воплотил. Получается, что язык музыки не может быть постигнут из-

вне; он может быть постигнут только в своей внутренней сути.

Несомненно, неудача идеального языка науки (например, языка «Principia Mathematica») как языка, на котором можно выразить все содержание сознания и реальности, свидетельствует о несостоятельности претензий метафизического реализма на возможность «прямого», привилегированного доступа к реальности. Но лингвистические идеалисты, критикуя этот тезис метафизических реалистов, абсолютизируют противоположную крайность — они изолируют различные языки, ставят между ними непреодолимые преграды. Если метафизический реалист ложно убежден, что он всегда поймет дикарей, поскольку они одинаково представляют объекты, то лингвистический идеалист не менее ложно убежден, что он *никогда* не поймет дикарей, если на время не «перевоплотится» в дикаря.

На наш взгляд, истина лежит вне каких-либо односторонних положений. Возражая Уинчу, можно признать, что некоторая коммуникация по поводу конкретных предметов (бус, шкур, консервных банок, золота) все же возможна, в чем нас наглядно убедили конкистадоры и колонизаторы. В принципе, если мы не держимся за чисто лингвистический пиетет по отношению к «суверенности» и «индивидуальности» языка, можно наладить коммуникацию между самыми разными языками. У Витгенштейна есть пример, когда Мур попадает в племя дикарей, где оказывается не в состоянии проявить свой здравый смысл. На наш взгляд, Мур, который никогда не разделял принципа «Только язык», без труда «изменит» своему английскому, научному и метафизическому языку, попытавшись перейти на язык низшего или примитивного уровня цивилизации. Бусы потому и приводили дикарей в восторг, что они были разноцветными и необычными, тогда как золото давно стало в их среде банальным. Колонизаторы, поняв, что дикарь ценит бижутерию выше золота, сразу же приспособились, демонстративно показывая, что и в Европе критерии ценности те же самые. Итак, мы можем видеть в языках разные, часто очень разные символические системы, предполагая, что *вне языка* существуют определенные сущности, *по поводу которых* эти языки могут совпадать. При этом мы и не пытаемся, следуя рекомендациям лингвистических идеалистов, решать затруднения только

«лингвистическими» средствами. Как человек, повредивший ногу, вынужден в период выздоровления пользоваться костылями, так и наша позиция предполагает, в случаях необходимости, отказ от автономности языка и выход за его пределы. Выражаясь строже, мы полагаем, что можно общаться не только с помощью языка, но можно общаться и выходя с помощью языка за пределы языка.

Глава II

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИТГЕНШТЕЙНОВЕДЕНИЯ

В настоящей главе предпринимается первая в отечественной литературе попытка систематического рассмотрения отечественного витгенштейноведения за всю его историю, которая берет свое начало с момента первого издания «Логико-философского трактата» на русском языке в 1958 г. Обобщив источники за шестьдесят лет, мы выделяем четыре области проблем витгенштейновской философии, каждой из которых посвящен соответствующий параграф: логика, эпистемология, философия языка и практическая философия. Кроме того, внутри параграфов вводится деление на разделы, посвященные более частным проблемам. При написании этой главы мы придерживались традиционных методов историко-философского анализа, стараясь детально описывать и анализировать концептуальные представления о Витгенштейне, прибегая к критическим замечаниям как можно реже, но вместе с тем предлагая и собственные комментарии.